

# СКЛО

Повесть

## 1. Вводная часть

*Разбитое вдребезги, но ещё мгновение остающееся целым стекло может стать причиной дробления этого мгновения, или, если угодно, перехода наблюдателя в другой масштаб времени.*

Это запись в блокноте с телефонами двадцатилетней давности, который я недавно нашёл в своём подвале. Переписал я её не потому, что она мне понравилась, — скорее наоборот: я успел отвыкнуть от этих итээровских итераций, их нечаянных рифм (и приобрести другие вредные привычки, как-то: алл-итераци, An-nährungen<sup>1</sup>, etc.), но я, тем не менее, решил, что аутентичная фраза работает — она ускоряет погружение в прошлую жизнь, где моя программа, попав в бесконечный цикл, возможно, всё ещё считает «жёсткие» системы при помощи многошаговых методов.

Главное, чтобы эта фраза, если я её не вычеркну, не придала всему тексту специфическую, скажем так, фразеологию моих тогдашних квартальных отчётов — как это отчасти произошло уже в предыдущем абзаце.

Но вроде бы велика вероятность того, что это не случится. Во-первых, тон будет задавать фактура, связанная не с работой, а с отработкой; во-вторых, я всё забыл за отчётный период из того, что касается приближённых вычислений... Даже — что, собственно, означала эта «жёсткость», я теперь толком не вспомню.

Припоминаю только, что мне — в смысле моей программы — надо было периодически останавливаться и разгоняться одношаговым методом, например, Рунге-Кутта, или Эйлера, чтобы потом снова перейти на многошаговый — Адамса, или кого-то ещё... Ну да, и при этом система считалась «жёсткой», если в ней существовали вот именно разные «временные масштабы». Так замыкается круг. По крайней мере, больше я об этом уже точно ничего не вспомню.

Перед тем, как я записал в блокнот наукообразную фразу, набранную теперь курсивом, я видел, как мозаичный витраж, на мгновение возникший в чёрной рамке, исчез и на пассажиров посыпались мелкие гранулы.

Причём сверху, как будто пошёл град и одновременно у трамвая снесло крышу...

Все, казалось, были в трансе, не шевелились, не чувствовали, как градины лупят по черепам.

Я было подумал, что стал единственным свидетелем не описанного ранее явления неживой природы, но через несколько, всё ещё как бы стеклянных, секунд трамвай затормозил, вагоновожатая выскочила на улицу, заорала на водителя полуторки, который не впился в поворот...

---

<sup>1</sup> Приближения (нем.), часть названия одной из книг Эрнста Юнгера.

То есть человеческий фактор присутствовал, да и причинно-следственная связь была в тот момент ещё не нарушена – в этом я чуть позже убедился на собственной шкуре...

Но не будем забегать вперёд, покончим уже с трамваем: от чересчур резкой остановки у него соскочила дуга, и мы стояли ещё какое-то время, тогда как протаранившего нас грузовика простыл след. Чёрная рамка была пуста, и в ней был хорошо виден фрагмент фасада дома напротив, серые щербины на кремовом фоне, кто-то рядом со мной поводил плечами, проводил руками по волосам, радовался, что осколки не попали в глаз, тогда как трамвай снова задрезбезджал...

Из пустой четвертинки окна теперь дул приятный ветерок, пол, усыпанный осколками, был не виден, закрыт телами... Вертикальными, да, но осколки на полу всё равно были не видны, потому что яблоку негде было упасть – был час пик... Но пики на этот раз были невидимыми и с ледяными наконечниками, которые тоже успели растаять... Во всяком случае, их уже не было видно.

Я покинул трамвай возле Южного вокзала, там, где круг 20-го. Дойдя до перекрёстка, пошёл было дальше на красный свет, как вдруг понял, что стая машин несётся быстрее, чем мне казалось с тротуара. Видимо, я всё ещё пребывал в другом временном масштабе и как бы видел замедленную съёмку. Когда же всё стало двигаться с большой скоростью, я побежал, и тут что-то так больно впилось мне в ногу, что я крикнул.

Выпрыгнув из-под колёс, я поскакал дальше на одной, как будто играя в классики на льдине, которая раскалывалась на квадратики, прямо у меня под ногами...

Машины проносились рядом, задевая рубашку, огромное точильное колесо чиркнуло по моей туфле...

Но мне, можно сказать, в тот день везло: я достиг другого берега.

Снял туфлю, подержал её в руке – в оцепенении... а потом встряхнул.

На асфальт выпала мелкая градина, которая почему-то не растаяла под пяткой... И не спешила это делать на асфальте, нагретом июльским солнцем... Но хватит уже льда в этом коктейле, ей-богу...

Я поднял и внимательно – как вырванный зуб, если угодно, – рассмотрел, а потом выбросил прочь – осколок стекла, и пошёл, немного хромая, на работу, недоумевая, как он мог попасть мне под ногу, если брюки, которые я надел в тот день, были длинными, только что не волочились по земле, а рыжие туфли-мокасины были мне впрытык.

Осколок, казалось, прошёл сквозь меня навывлет. Вошёл в темечко и вылетел сквозь пятку. Где действительно обнаружилась ссадина: только что, стоя на тротуаре на одной ноге, я снимал покрасневший носок.

Вскоре показалось здание моей работы: невысокий небоскрёб, который раньше был первым, что видел пассажир московского поезда, въезжая в Харьков.

Район же, который начинался сразу – или почти сразу за ним, так и назывался: «Москалёвка».

Я показал на пропускнике красную книжечку с надписью «Министерство какой-то промышленности СССР», и вахтёр меня пропустил, ни о чём не спросив и даже не попросив раскрыть пропуск.

Это означало, что кампания, направленная против нарушителей трудовой дисциплины, уже закончилась.

Иначе бы заклинило вертушку, вахтёр немедленно позвонил бы в отдел кадров, чтобы сообщить, что я опоздал на столько-то минут.

Тогда же, кстати, в разгар кампании, и ввели эту дурацкую моду, вход по пропускам, раньше такого никогда не было – мы не оборонное предприятие, и я вообще думал, когда начальник объявлял о новом веянии, что пропуск давным-давно где-то посеял.

Но потом нашёл его в подвале, в старом чемоданчике, с которым когда-то ездил в командировки, если они были не в Москву.

Я ничего не стал рассказывать о стекле – ни сотрудникам, ни начальнику, благо никто и не спрашивал, почему я опоздал.

Если бы мероприятия по борьбе с преступной неорганизованностью продолжались, я бы сказал, конечно, что попал в аварию, или даже в две аварии – я ведь и в самом деле чуть не попал.

«Чуть не считается!» – сказал бы Молотков (наш начальник).

А впрочем, для рассказа, основанного на реальных событиях, важно как раз, кто и что *сказал*. А также то, что Молотков был вполне вменяемый. Во всяком случае, не менее, чем его подчинённые... Наверно, я чуть было не *наговорил* на него сейчас, потому что мне вспомнился анекдот, который ходил в разгар этой кампании: звонят с работы Иванову домой, спрашивают у его домашних: «Что случилось?» – «Иванов умер» – «Фух, слава богу... А мы думали, что он опаздывает на работу».

Я когда-то застрял в лифте. Давно, ещё будучи студентом. В тот день была военка, где мне за неделю до этого было сделано «последнее китайское предупреждение». Поэтому когда кабину открыли, вручную опустив на лебёдке на первый этаж... Я сказал лифтёру, что не уйду, пока он не выдаст мне справку. Лифтёр сильно удивился, но потом с удовольствием написал на листике, который я выдрал из конспекта: «Тиновицкий застрял в лифту. Освободили в 9:20». И подпись поставил, число, как полагается.

Но о стекле я своим сотрудникам рассказывать не стал, подумав, что это слишком странная для них была бы двухходовка.

То есть не то чтобы слишком сложная – у всех же высшее образование, да и стёклышки, просыпавшиеся передо мной тогда, были не бисером... Однако есть, как кто-то писал, люди, которые играют в игры... А есть игры, которые играют в людей... Или с людьми, людьми... Короче говоря, утренняя игра стекла – со мной показалась мне слишком всё-таки *странной темой* для пересказа её вслух рабочему коллективу.

Поэтому я рассказал о стекле только Веронике – «девушке с грацией слонёнка» (я её этим не обижаю, это же была её самодефиниция), которая меня всегда понимала.

– Знаешь, что мне это напомнило, – сказала она, выпустив изо рта дым «Ватры», – «На Садовой большое движение!» То место, где у дяди Дениски после аварии ботинок попадает в багажник, притом, что дядя сидит в закрытой кабине. И точно так же не может этого понять, как ты сейчас своё стекло.

– При чём тут моя скво?

– Уши прочисть, Тиновицкий. Скло! Рідна мова!

– А почему ты вдруг заговорила на украинском?

– А я не знаю, почему. Наверно, мне показалось, что не стекло, а... вот именно – скло – мелькало всё время в твоём рассказе...

– Это многое объясняет, конечно, спасибо, дружище. Хотя, знаешь, по-русски, по-моему, не менее красиво: «было и – стекло...».

– Ты прав. Пойдём, – вздохнула Вероника, и мы вернулись из курилки в нашу комнату.

Я сел за свой стол, многозначительно подвинул к себе распечатку программы, которую периодически прогонял сквозь ЭВМ, меняя во входных данных значения двух-трёх параметров.

Или вообще ничего не меняя... Меня давно уже никто не контролировал, и так можно было *играща* бесконечно – благо программа, представляя собой «идеальную» модель двигателя, не изнашивалась, в отличие от железа, а жила своей собственной жизнью, причём каждый раз довольно-таки долго – часа два, а то и три с половиной...

То есть по сути это был вечный двигатель...

Потом можно было описать процесс в очередном отчёте, основную часть которого составляли точечные графики, выдаваемые ЭВМ...

Это было не моё ноу-хау – почти все у нас в отделе также тогда работали, кроме разве что Коломийца, который верил во что-то прекрасное, употреблял в своей речи временную форму «прошедшее в будущем» и продолжал упрямо дописывать кандидатскую «against all odds», одновременно уча и английский... При том, что шансов свалить с подводной лодки у него вроде как и не было...

Нас, конечно, слали периодически на поля – или, там, на кагаты... Но я к тому времени был на отработке довольно давно, так что уже и забыл... Была ли осень, ранняя ли весна... Нет, скорее прошлогодняя осень, потому что осенью же собирают овощи, да? И шёл дождь... Не так чтобы ливень...

Я помню, что запустил в начальника зелёного цеха кабачком, но это мог быть просто кабачок, который попался мне под руку, потому что собирали-то мы скорее всего бураки, а себе домой набирали с соседнего поля кабачки... То есть я не собирал вообще ничего – себе домой, чем вызывал гнев наших женщин, шипевших «ну конечно, у него жена сумки тягает», что было неправдой, но это сейчас неважно, – я мог запустить в начальника зелёного цеха, скажем, чужим кабачком, вообще какая разница... Тем более, что я всё равно не попал, к сожалению.

Мы полдня работали под моросившим дождём, а когда он усилился, побросали орудия труда и пошли в посадку. Там расположились, кто на чём, или на ком, как вдруг из кустов вырос начальник зелёного цеха и начал на нас кричать.

Притом, что сам он всё это время отсиживался в какой-то земляночке.

Ну, я и вышел из себя – как он из своей норы... И запустил в него кабачком.

Или всё-таки свеклой... Но всё равно не попал.

После этого меня перестали посылать на отработку и грозили выгнать с работы по статье.

И всё это, значит, Молотков мне теперь зачем-то припомнил.

Ну, не так подробно, как я сейчас, и по его версии я швырнул в начзелцеха так да – бураком (укр. – свекла).

В частной беседе, задолго до этого дня, начальник доверительно сказал мне, что я «неудачливый сачок».

Удачливый – это тот, кто ни черта не делает, но не бросается... в глаза.

А неудачливый, соответственно, наоборот, может работать не меньше других, или даже больше, но, что ли, паузы, которые он делает, переводы дыхания, выражение лица – всё это так не вписывается в общий ритм, что человек этот выглядит злостным тунеядцем.

Всё это шеф мне теперь припомнил, после чего сказал, что он не за тем меня позвал, чтобы вспоминать сейчас все мои грехи.

– А позвал я тебя, Тиновицкий, – сказал шеф, – чтобы сообщить радостную весть: с завтрашнего дня ты наконец идёшь на отработку. Где не будет начальника зелёного цеха и вообще ничего зелёного не будет, насколько я помню район... Сейчас я всё объясню, но чтоб не забыть, это важно. Я не советую тебе бросаться там в непосредственное начальство... любыми предметами, если не хочешь загреть по полной программе...

– Владимир Григорьевич, – сказал я, – ну к чему всё время это вспоминать, что было, то – стекло... я же вам подробно тогда всё написал в объяснительной записке, что шёл дождь, что эта сука...

– Не смей так говорить с начальством! Ну и что, что дождь? Сахарная – свекла, а не голова твоя дурная...

– Нет, ну мы все не сахарные... Но, как бураки, торчали на поле под осенним дождём, и чтобы после этого ещё выслушивать... Ну, я и вышел из себя. С кем не бывает?

– Допустим. Но ты не думаешь, что терпение начальства тоже не беспредельно?

– Мы в тот раз вообще-то кабачки собирали, – попытался я тогда уж лучше вернуться к прошлой теме, – я вот сейчас вспомнил, а не свеклу... Нет, ну к чему это, Владимир Григорьевич, а? Кто старое помянет...

– А вот к чему. Мне пришлось сейчас преодолеть некие сомнения, прежде чем я решился. С одной стороны – вроде идеально для тебя разнарядка, потому что дорогу в колхоз ты себе как бы обрубил, во всяком случае, при нынешнем начелцехе. С работы же тебя увольнять мне... Ну, как-то не с руки, не по-людски... Ты же сам меня просил, помнишь: «Владимир Григорьевич, будьте человеком...». Вот, а не посылать тебя совсем уж никуда... Мне, как ты понимаешь, это по барабану. Но я не могу. Народ взбунтуется, ты знаешь нашу Элькину – она молчать не будет, она и так уже не молчит... Просто рот у неё сейчас занят грызнёй по поводу десятирублёвых надбавок, а вот как поделят...

– Ой, что будет...

– Не говори... То есть я давно уже ломал голову, как тебя можно использовать в мирных целях. И тут приходит вдруг разнарядка на другой вид отработки, не сельхоз...

– Что, стройку оперного реактивировали?

– Не угадал, тут другое... В общем, так: завтра в восемь тридцать ты должен явиться в отделение уголовного розыска N-го района. На входе сказать, что ты к следователю Доценко – тебе выпишут пропуск.

– Ну что? – сказал Молотков с наслаждением после паузы, – доигрался, Тиновицкий?

– Ну и шуточки у вас, Владимир Григорьевич, – сказал я.

– А вот и не шуточки! Поступила разнарядка, как я тебе уже имел честь доложить, на одного пока что нашего сотрудника. В помощь милиции. Не справляется наш угрозыск с делами – вот и обратился за помощью к нам, ну что непонятно? Решили фуражки: «Мы что же, хуже колхозников?»

– Мы?

– Они. Ну, я вполне серьёзно всё это говорю, ты уж поверь.

– Это что, не розыгрыш?

– Какой, к чёрту, розыгрыш, делать мне больше нечего – это вы там всё разыгрываетесь, в отделе... Но ты знаешь, я на это сквозь пальцы. Что делать, за границей есть безработные, а у нас есть мы... Но отработка – это святое, заруби себе... Завтра в 8:30 чтобы как штык. Вот адрес, перепиши, на тебе листок. Следователя зовут Доценко Игорь Антонович. Будешь его помощником. Расскажешь потом всё в подробностях – мне же нужно знать, кого посылать следующим, если это будет не единоразово... Ну, я тебя первым выбрал не только из-за твоих подвигов на ниве... Но ещё и по росту. Я понятия не имею, что там может ещё пригодиться!

– Вы что, не спросили?

– Я спросил, мне ответили: никаких навыков, что нужно делать, объяснят на месте. Попросили только не посылать совсем уже городских сумасшедших. Вот я

и выбрал тебя, решив, что не можешь же ты, Тиновицкий, быть одновременно деревенским дурачком и... хе-хе-хе...

– Если будете оскорблять, Владимир Григорьевич, я вообще никуда не пойду.

– Ну ладно, пошутил, – сказал Молотков, – и вообще, всё возможно, как нас учили, слияние города и деревни, хе-хе, в одной отдельно взятой голове...

– Ещё неизвестно, кто здесь больший сумасшедший... Я имею в виду милицию... Это же надо додуматься...

– Короче, такая петрушка. Разрядка пришла – обязаны исполнять. И я надеюсь, что на этот раз ты меня не подведёшь. В твоих интересах. Не опаздывай! Они наверняка не любят, а у тебя с этим проблемы – сегодня, думаешь, я не заметил?

Я хотел было рассказать Молоткову о том, как с утра попадал в стеклянные грёзы... Но передумал.

## 2. Наружное наблюдение

Здания я совсем не помню, и мне ничего больше не остаётся, как написать: «Дом, в котором размещался угрозыск N-ого района города Харькова, был ничем не примечателен»... И прибавить, что то же самое можно было бы сказать о следователе, который ждал меня внутри здания. Он стоял уже внизу возле пропускника, хотя я не опоздал ни на одну минуту.

По-моему, у него были усы и он был в гражданском костюме, тёмный какой-то пиджак, может быть, коричневый... Человек бывалый, возможно, и распознал бы в нём следователя угро, очень может быть, что и за версту, но я бы ничего такого в нём не узнал даже на расстоянии вытянутой руки – которую я неуверенно пожал, стоя непосредственно в здании его незаменяемой, казалось бы, работы...

Даже при том, что одной рукой Игорь Антонович прижимал к себе весьма характерную папочку – как во всех этих фильмах, «наша служба и опасна и трудна... И на первый взгляд как будто не видна»...

Мы пожали друг другу руки и вышли из здания прямо к припаркованному у входа красному жигулёнку.

По дороге Игорь Антонович объяснял, что нам нужно будет делать, добавляя в конце каждого второго предложения «...не бином Ньютона».

Количество квартирных краж, по его словам, подскочило за последнее время во столько-то раз (он сказал, во сколько, но цифру я теперь не вспомню, а врать не хочу, чтобы ни очернять, ни обелять то серое время), сотрудников, чтобы заниматься их раскрытием, не хватает, поэтому решили пойти путём профилактики... Чем мы с ним сейчас непосредственно и займёмся.

Я даже не заметил, как слова перешли в дела, – мы так же ехали, только теперь с меньшей скоростью – не превышавшей скорости пешехода – по прямым узким улочкам микрорайона, похожего на тот, в котором я жил, но более безотрадного, потому что он был сравнительно новым и в нём совершенно не было зелени. Что, понятно, было нам на руку, это как американцы во Вьетнаме, – думал я, – для начала уничтожали всю зелень какими-то химикатами, а потом уже кружили над местностью, и всё тогда им было видно, как на ладони...

Мы с Игорем Антоновичем зелень здесь не уничтожали – этим занимались мои сотрудники, и не «оранжем», а тяпками, и в других местах, на колхозных полях, – здесь же растений не было отродясь, и мы медленно кружили с Игорем Антоновичем в жигулёнке по серой пустыне, глядя по сторонам, он – в одну, а я – в другую сторону... При этом никаких инструкций он мне больше не давал, вообще с какого-то момента молчал в тряпочку.

«Ну хорошо, – думал я, – допустим, не бином. Ну, несут мужики мебель, или там что, чемоданы как-то быстро, и всё сразу с ними ясно... Но что тогда делать? У меня же нет ни орудия труда, ни инструкции... И для чего я вообще понадобился? Ну, или другой какой... научный сотрудник. Чтобы эффективнее смотреть по сторонам? Но Игорь Антонович и сам мог бы вертеть своей башкой: на дорогу смотреть при такой скорости не обязательно. Ну, может, шея быстро устаёт... Ну хорошо, допустим, два глаза хорошо, а четыре лучше... Но разве не нужно иметь хоть какой-то профессиональный опыт, навык, по крайней мере, хоть раз в жизни видеть перед этим живого медвежатника? А то получается то же, что в колхозе, где, по признанию моих сотрудников, они, так же, как я, выпалывали тяпкой всё подряд, не умея отличить бурьян от злаков... В этом смысле хорошо, конечно, что здесь... хоть не додумались выдать орудие труда...»

Сейчас (примерно через двадцать лет) мне задним умом приходит в голову простая мысль: помощь заключалась в физическом присутствии. Никто же не знал, что я работник НИИЧаво, или с некоторых пор уже даже чистого НИЧТО, способного принимать любые формы – от колхозника до милиционера...

(Звучит, наверно, слишком пафосно, но разве не такова теперь была ширина нашего спектра?)

Важна была скорее всего численность сама по себе – чтобы в случае чего преступники видели, что перед ними не одно физическое лицо, а целых два. Это было, по-видимому, важно – один в поле не воин и всё такое... Я думаю, это и было причиной – не эффективнее смотреть по сторонам, а эффективнее смотреться... хотя полностью я, естественно, не могу быть в этом уверен.

Можно, конечно, было бы, раз уж я туда вернулся сейчас, что-то уточнить, задать эти же вопросы Игорю Антоновичу, можно было бы придумать за него и ответы.... Но у меня нет желания создавать эрзац своего прошлого: персонажи-муляжи, люди-куклы, надетые на пальцы одной руки...

Поэтому, *попадая туда*, я точно так же молча сижу, как и тогда, рядом с Игорем Антоновичем, поглядывая по сторонам, – и не вижу нигде не только подозрительных, но вообще никаких людей... Как будто их всех здесь закатали в бетон.

Когда же мы через несколько часов такого катанья вышли из машины и решительным шагом – Игорь Антонович то есть решительным, – ну и я, еле поспевая за ним, вошли в один из подъездов, мне показалось, что он, отчаявшись дожидаться, идёт сам совершать ограбление – чтобы самому же его потом раскрыть и отчитаться...

Но я отбросил эту мысль как полностью абсурдную.

Мы поднялись на пятый этаж, подошли к голой, в смысле не обитой дерматином – в отличие от соседних, – двери, Игорь Антонович припал к ней на мгновение... Я подумал, что он мог учуять что-то неладное – зоркий сокол, ещё с улицы, по каким-нибудь бликам в окошке...

Он открыл дверь с помощью отмычки – или ключа, я не успел заметить, что у него там болталось в связке, навряд ли ключи от всех дверей микрорайона... Впрочем, зная мы эти двери: когда наша захлопывалась, сами открывали расчёской, нажимая на щеколду, – имели, таким образом, некий навык, который чуть позже и пригодился... Но, конечно, в тот момент я этого ещё не знал, и, войдя вслед за Игорем Антоновичем в коридор, оглянулся и осмотрел замок, просто удивляясь, что Игорь Антонович так просто его открыл... После чего вернулся к нему с лицом человека, который ждёт, что ему наконец-то всё объяснят.

– Это особая квартира, – сказал он. После чего, очевидно, просто хотел сделать паузу, собираясь произнести ещё несколько слов, но я подумал, что на этом

всё объяснение снова закончилось, и тут уже лаконичность его едва не вывела меня из себя.

– Что значит особая? – сказал я, – что в ней такого особого – что мы без ордера входим без стука как к себе домой?

– С зоны сбежал один преступник. Причём не простой ... По имеющимся оперативным данным, скоро может появиться в городе. Эту квартиру ему заготовили кореша. Поэтому я заезжаю сюда иногда и осматриваю на предмет его проявления. Теперь всё понятно?

С этими словами Игорь Антонович быстро подошёл к кровати и поднял матрас, как будто предполагая, что преступник специально для него оставил там какую-то записку, или денежку... Я подумал, что после этого он достанет из-за пазухи лупу и начнёт изучать простыню – кровать была застелена простынёй, покрывала на ней не было, – но этого делать Игорь Антонович не стал, он прошёл в другую комнату – квартира была трёхкомнатная...

– Ничего не трогай! – крикнул он мне уже оттуда.

– Слушаюсь! – крикнул я, а когда он вернулся, проникновенно спросил его:

– Чтобы не оставлять отпечатки пальцев, да?

– Шутишь... Кто там будет их снимать... Просто сдвинешь какой-то предмет, он войдёт, заметит – вот и вспугнёт. Помнишь, как в фильме... Только Картон немножко повнимательнее будет, чем этот, как его...

– Плейшнер, – сказал я. – А как вы сказали – это что, тот самый Картон?!

– А что, слышал? – удивился Игорь Антонович. – А кажется, ты в другом мире живёшь, на другой планете.

– Между прочим, двадцать лет жил точно в таком микрорайоне. И квартира такой же была планировки...

Тут я прервался, чтобы не перескочить словесно через лестничную площадку: мне бы не хотелось говорить с Игорем Антоновичем о моих соседях. То, что после долгого кружения в жигулёнке мы спикировали прямо в это чёрное яблочко моей памяти... могло бы, конечно, ввергнуть меня в большую разговорчивость, как это и происходит сейчас... Но тогда сработал, видимо, инстинкт, который говорил мне: не стоит ничего лишнего говорить, даже если кроме того, что Картон был твоим соседом, сказать нечего...

– Ну, так ты тут тогда вообще как дома, – кивнул Игорь Антонович. – Всё на сегодня. Пойдём, подброшу тебя до метро.

### 3. Лестничная клетка

Я никогда не бывал в их квартире и видел Кариухиных, стало быть, на площадке, в лифте, при подходе к подъезду... Или при подъезде к подъезду Кариухина-старшего, но это случалось крайне редко, потому что себя самого он домой не подвозил. Впрочем, вспоминаю, что он, отец их семейства, бывал у нас когда-то довольно часто днём, когда я ещё под стол пешком ходил... График работы у него был, естественно, скользкий, и он любил поговорить с моим дедом, в частности, о своих романах. Дед же был однолюб и тосковал по бабушке, которая умерла вскоре после нашего переезда на эту квартиру, поэтому я думаю, что деду было неприятно выслушивать истории, которые рассказывал «Таксист», – так его дед всегда называл за глаза. Я даже знаю это наверняка, вспомнил сейчас, как после ухода соседа дедушка пожал плечами, заглянув в мою комнату, и пожаловался: ему, мол, ужасно надоели рассказы о том, как Таксист изменял своей жене. Он как бы оправдывался, что забыл обо мне и проговорил с Таксистом так долго, – на кухне, час или два, закрыв двери, – как бы заверял меня, что ничего интересно-



го я на самом деле не пропустил и что он и сам бы с удовольствием всё это не слушал, если бы не неписанные законы добрососедства и гостеприимства.

Дед общался не только с Таксистом — это родители мои мало кого знали из соседей, потому что всё время были на работе, — дед же был на пенсии, которую он посвятил почти полностью мне, а так как он курил папиросы, то часто выходил из квартиры на лестничную клетку и там общался с другими курильщиками, иногда даже «забивал с ними козла» — пятачок был довольно большой и позволял поставить несколько табуреток. Это не та площадка, где были двери квартир, а выше на полпролёта — куда выходила только дверца мусоропровода, которая с лязгом открывалась и, на каком бы этаже меня это ни заставало, я весь сжимался, как будто девятиглавое чудовище могло проглотить меня. Такое же примерно чувство возникало у меня в зоопарке, когда в клетке бегемотника разверзалась пасть, — только у мусоропровода зев был чёрным, а не розовым... Если что-то не проходило — ящик, скажем, его разбивали или расчленили, мяли, комкали, рвали, а потом ещё давили, как будто прессом, упираясь в прямой железный рог, торчавший из зелёной бугристой челюсти, — я думал, что отсюда и пошло это выражение: «жаба давит», когда его впервые услышал... Но это так, ни к селу ни к городу, я отвлёкся...

Нет, правда, к чему был весь этот бестиарий... смесь носорога с бегемотом... бульдога с мусоропроводом... Ага, наверно, цепочка должна была привести нас к Минотавру... а железно-гетакомбный микрорайон моего детства — что, как не лабиринт тогда... Ты смотри, как мы чуть было не заговорили... Но ещё лучше — не смотри, куда смотреть не стоит... Обойдёмся в самом деле без мифов народов мира, нам нужны только неприукрашенные детские впечатления риг...

Я помню, как Таксист вошёл к нам в квартиру впервые после небольшого, так называемого косметического, ремонта, как он посмотрел на себя в зеркало, которое накануне рабочие повесили в коридоре на стенку, и сказал:

— Всё хорошо, только зеркало короткое. Зеркало должно быть до пола. Женщинам же надо видеть свои ножки! — и он так хитро засмеялся, что даже закашлялся.

Казанова был низкого роста — на голову ниже, чем его сын, и очень плотный, квадратный такой, без шеи, с мощной квадратной же головой, всегда в чёрном костюме, загорелый и зимой, и летом, — я помню, что курил он, в отличие от дедушки, сигареты с фильтром и всегда одну держал в руке, а также зажигалку, так что казалось, что он сейчас закурит прямо у нас в квартире, но он этого никогда не делал. Ну, может быть, зашёл один раз, не погасив: «Я на секундочку»...

Жена его — мать Картона — была маленькой женщиной, возможно, с татарским разрезом глаз, больше я ничего о ней не помню.

Картон был с начала нашей тамошней жизни достаточно взрослым, чтобы отбывать срок, — что он, в основном, и делал. Каждый из его выходов из тюрьмы и, соответственно, появлений в нашем доме я помню очень хорошо, потому что это было нечасто, ненадолго, а кроме того... Как бы это сказать... Ну, что ли, облако невесомости, окружающее, надо полагать, каждого выходящего на свободу человека, какое-то первое время — вот оно как-то ощущалось посторонним наблюдателем, которым и был я со своими очками и школьным ранцем.

Картон был как-то дымчато пластичен... Дурацкое словосочетание, но, прежде чем я его успел вычеркнуть, оно напомнило мне «дымовуху», то есть подождённую пластмассу, вонявшую так, что бесшумный Картон был на неё уже точно не похож...

И можно закончить его портрет словами, что «он был не похож ни на что», но вспомнилось вознесенское «ты не похожа на бешеную кошку, ты не похожа ни на что»... А Картон-то, кстати, уж больше был *похож на кошку*... Чем на «дымовуху», во всяком случае...

И чего она прицепилась, как жевачка на подошву, и дымится...

Ну, наверно, в раннем детстве это было худшим из того, что ассоциировалось у меня с «плохими мальчиками»... Ну да, а в движениях Картона было-было – что-то от крупной кошки... Но ничего хищно-зловещего... я, по крайней мере, рядом с ним не чувствовал... И поэтому не понимал, как его имя, или кличка, может все-таки в людей такой ужас.

Одного упоминания его было достаточно, чтобы разжался занесённый над тобой кулак – ночью, посреди микрорайона, когда дорогу тебе преградили те, от кого так просто, вообще говоря, не отделаешься... А вот разжался – превратился в ладонь, которая сразу задвинулась обратно в рукав или даже карман...

Первый раз его имя произнёс не я, а кто-то стоявший рядом, может быть, сверстник из моего дома – в доме было полтыщи квартир, и всех мальчишек я не помнил, конечно, даже когда там жил... Может, и ангел-хранитель, которому скучно стало таскаться за мной по пятам, – у меня была ничем не примечательная жизнь, совсем ничего интересного... И мой душеспаситель, или тушехранитель, – неважно, кто бы он ни был, – нашёл способ, как обезопасить меня, а самому пойти в более тёплое место, скажем, в ресторан «Околица».

Не такая уже, кстати, нездравая версия, потому что наш микрорайон был достаточно стрёмным лабиринтом, весь состоял из углов, аппроксимировавших шар, которого не было – куда-то закатился, зато заколотым там можно было быть везде, что во дворе-пустыре, что за углом, что возле телефона-автомата – за то, что не дал двушку... И я помню даже такой случай, когда прямо в подъезде... Причём Картон был ни при чём: он отбывал срок в тот момент, когда до доминошников снизу долетел крик: «Вы там козла забиваете, а тут человека забили!» Соседи замерли на миг, а потом, побросав свои костяшки, помчались вниз и на первом этаже споткнулись о труп с торчавшим ножичком. Кстати, никто так и не понял, кто это кричал, неужели же сам убийца...

В общем, я не знаю, кто произнёс слово «Картон» в первый раз, потому что взгляд мой в тот момент был прикован к одутловатому ублюдку, который набрал уже воздух, чтобы обрушить на меня кулак с помятой «свинчаткой».

«Он сосед Картона, рядом квартиры», – сказал чей-то голос, после чего плохиш мгновенно исчез.

И я понял, что имя обладает магической силой.

Я не злоупотреблял им, я произносил его только в крайних случаях, когда угроза была серьёзной... Чаще всего поводом становился пришелец из другого мира – того самого, откуда периодически появлялся и сам Картон.

Была ли тамбурная дверь Кариухиных из листового железа – или это мне теперь только так кажется, потому что Картон большую часть жизни проводил взаперти?

Наша дверь, то есть вторая дверь – её все устанавливали сами, и она создавала, помимо дополнительной безопасности, или её иллюзии, небольшой закрытый уголок, где можно было, скажем, поставить ящик для хранения картошки. Мы называли этот закуток «тамбуром», как будто все вместе ехали куда-то на поезде.

Я помню, что наша тамбурная дверь была обита узкими деревянными планками, которые рабочие сделали пятнистыми с помощью паяльной лампы и вскрыли лаком. Сначала она выглядела экзотической, но потом такие же «леопардовые»

двери появились и на некоторых других этажах, например, на шестом – а вот чем была обита дверь квартиры напротив, я не могу вспомнить.

То ли дерматин, то ли листовое железо... Но железная дверь – это, может быть, просто эрзац двери, который вырос в моей памяти, потому что я, когда в очередной «раз в сто лет» видел Картона на лестничной клетке, думал, что зона – это не где-то там в Сибири, а прямо вот здесь, стоит сделать лишний шаг по площадке... что это просто такая оптика – что я вижу за тысячи километров, как недавно в районе Бруклинского моста – с помощью миллиметрового световода, пропущенного по дну океана, соединили Нью-Йорк и Лондон... С обоих концов световод попадает в огромный телескоп, и люди видят друг друга в огромную линзу в натуральную величину, машут друг другу руками... Но тогда ещё никто не додумался так закорачивать места столь отдалённые, и я вспомнил вчерашний телерепортаж, только чтобы описать ощущение, которое у меня мелькало, когда я видел Картона на своей площадке...

Причём как раз в дверной глазок, который увеличивает расстояние, я его на самом деле вряд ли мог лицезреть – он ведь никогда к нам в дверь не звонил.

Я встречался с ним исключительно на лестничной клетке... Вот как сейчас... Картон нажимает красную кнопку лифта (она на нашем этаже никогда не выжигалась шапаной, которая таким образом тоже устраивала «дымовуху»), как на нижних, где даже когда её снова вставляли – каждый раз почему-то меньшую, – вокруг, на стене, оставались чёрные следы, которые никогда не закрашивали, – это была сажа, будто в шахте лифта накануне бушевало адское пламя и сквозь эти дырочки прорывалось наружу; я говорю «здрасьте», Картон молча кивает, створки лифта раскрываются, он заходит, я мешкаю, Картон улыбается, и я тоже захожу в кабину.

Почему-то я думал, что на этот раз он что-нибудь скажет, – но нет, он так же нем, как всегда.

В чём-то чёрном, и волосы как смоль, похожий на своего отца, но выше чуть ли не на целую голову и не только не коренаст, но как-то даже слишком хорошо сложен – не похож на угловатых уголовников, которых мне приходилось видеть и от которых защищало меня его имечко.

Я вырос в нескольких метрах от него... Точнее – от чёрной дыры, которая была на месте его постоянной прописки... Но и этого хватало, чтобы для меня он был просто одним из соседей, и больше ничего, так что стоя рядом с ним в лифте, я не испытывал ничего – ни страха, ни, наоборот, гордости... Блатная романтика меня не привлекала: я был комнатным очкариком-отличником, я, скажем, никогда не матюкался, и ещё больше, чем слово из трёх букв, мне не нравились песни из трёх аккордов, все эти тюремные цыганочки, романсы, бррр... Но неужели я сейчас как раз и исполняю нечто подобное?!

Во всяком случае, пора закругляться; сказанного уже с лихвой хватит, чтобы представить поток, пронёсшийся у меня в голове, когда я услышал это имя через столько лет...

Тем более, что о человеке мне сказать-то, по сути, нечего... Я понятия не имею, по каким статьям он был осуждён... Да вообще, я ничего не знаю о нём – как таковом, написал, что он появлялся у нас прямо с зоны, но откуда я это взял... Может, он и жил где-то ещё в промежутках, помимо тюрьмы и родительской квартиры, а эти визиты были вот именно посещениями отчего дома... Хотя нет, я же помню, что он так жил у них каждый раз – что, конечно, не отменяет возможности того, что, не будучи у них, Картон не всё время был в так называемых (почему «так называемых», я и сам не знаю – просто так написалось, зато без кавычек) местах лишения свободы...

Но то, что он жил у них, а не просто заглядывал в гости, косвенно подтверждает такой, например, эпизод: в один из своих выходов на волю Картон успел завести домашнее животное и поселил его вот именно, что в родительской квартире.

Это была «зелёная мартышка» или, может быть, «мартышка-мона», кавычки тут тоже не нужны, так называется вид. Отряд – приматы.

Я это существо, если и видел, то один раз, мельком, когда Таксист открывал дверь, а я был на площадке, дожидаясь лифта... Вместе с Картоном я мартышку не видел ни разу: как он её выводил на прогулку – на тонком поводочке, я только слышал рассказы об этом, от какого-то мальчишки со двора, ну и от бабушки, разумеется.

Таксист жаловался деду, что в доме у него теперь творится что-то невообразимое, обезьяна перевернула дом вверх дном...

Дед пересказывал мне эти жалобы: «нэ мала баба клопоту, та й купыла поросся», мы оба посмеивались... По-моему, я тогда впервые попросил деда сводить меня в гости к Кариухиным – как когда-то в зоопарк, когда мы жили ненамного дальше от него, чем теперь от их квартиры... Но дед отвечал, что это совершенно невозможно.

А ещё через несколько лет за Картоном приехали милицейские машины (до этого он всегда исчезал так же тихо, как появлялся), много, очень много машин, и он полез через балконы... Говорят, очень быстро, как та обезьянка, перемещаясь одновременно по оси абсцисс и оси ординат...

Но его вычислили и схватили – у милиции хватало тогда людей, вокруг нашего дома мигали длинные цепочки бегущих огней, тянулись снизу длинные красные телескопические руки... Ревели сирены, всё это было похоже на военные действия, или на фильмы об освобождении заложников – опять же я не всё видел своими глазами...

Я слышал подробности от деда, которому, как всегда, рассказал Таксист, а своими глазами я только увидел множество милицейских и пожарных машин, когда отодвинул занавеску, ну и потом слышал ещё какое-то время вой их сирен, он отвлекал меня от выполнения домашнего задания...

Когда через некоторое время другой сосед – с верхнего этажа – попросил пустить его на балкон, у меня в голове мелькнула мысль, что теперь за ним приехали – как за Картоном. Дедушки дома не было, куда-то он пошёл, в магазин, но я знал, что дед общается с этим соседом, и ничего плохого о нём я не слышал... Так что я пустил его в дом, завёл в гостиную, он сказал «спасибо», открыл балкон, вышел туда и моментально оказался на перилах. Приник всем телом к тонкой перегородке, отделявшей нас от соседей справа... А его квартира была над нами, он толкнулся ногой и полез вверх, за что-то там ухватился, но это не помогло, он поехал обратно... Какое-то мгновение я видел половину тела и ноги, болтавшиеся над поручнем нашего балкона... У меня перехватило дыхание... Но потом его будто схватили за шкуру и мгновенно вытянули вверх, хотя там, вверху, точно никого не было: домашние его были в отъезде, и даже соседей по оси абсцисс не было дома – оттого он и лез к себе отвесно... И я тогда подумал, что вот так же, наверно, схватили Картона и что ещё хорошо всё закончилось – могли ведь и уронить при попытке к бегству.

Ну всё, пора закругляться с этими салтовскими реминисценциями, а то пошёл уже кукольный театр, болтающиеся в воздухе ножки, «с чег-о-о начинается родина...» – и всё в таком духе... «...с тра-та-та приятелей, живущих в соседнем дворе...».

Нет, всё же ещё один эпизод, связанный с Картоном, который важен, если мы хотим добиться хоть какой-то объёмности...

«Объёмность» надо было бы заменить «голограммой», но это выглядело бы слишком вычурно, самонадеянно...

Во всяком случае, в тот раз я увидел Картона чужими глазами, не замыленными соседством, и поэтому голо-не голо... а пусть будет ещё один ракурс, непохожий на предыдущие – как говорится, *для полноты картины*.

Я тогда уже учился в очень далёкой и к тому же чуть ли не подземной... Ну, то есть подпольной физико-математической школе, переход в которую – вот ведь чёрт... В каком-то смысле тоже был связан с Картоном... Точнее, с его отсутствием.

В тот раз Картон сидел так долго, что на районе его уже начали забывать... А может, кроме того и ещё что-то произошло – в настоящем подземном мире, я могу только предполагать: демифологизация, перераспределение «званий» – всё это только мои домыслы... Но, так или иначе, когда я произнёс его имя в очередной раз, оно не вызвало у людей, которые остановили меня возле школы, вообще никакой реакции.

«Картон? Картон далеко, да и что с того, что Картон... Ну, передашь ему от нас привет, если выйдет, – пожав плечами, сказал дяденька неопределённого возраста, похожий на полицаю из какого-то фильма, – а сейчас ты сделаешь то, что мы тебе сказали, понятно?»

Рядом с ним стояли ещё несколько подобных типов... Они мне сказали, что я должен вызвать к ним свою соученицу Веру «Сосульку», которую, кстати, с пятого класса вызывали в прокуратуру, – я это помню, потому что классная руководительница тогда сотрясала воздух словами: «Дожили, Веру вызывают в районную прокуратуру!»...

Так что было не совсем, скажем, странно, что теперь Веру вызывает другой орган... Дурацкий каламбур, идиотский, я понимаю... Ну, скажем, некий аналог прокуратуры... Ну, недаром же они напомнили мне полицаев...

Все остальные люди её давно уже оставили в покое, и она молча сидела на последней парте, предаваясь каким-то своим мыслям, воспоминаниям, если была в школе – что случалось не часто, и в тот день она как раз уроки прогуливала, почему урки, не дождавшись её, и обратились ко мне, когда я вышел из школы, с вопросом: «Ты из какого класса?»

Я нехотя назвал свой класс... Врать не было смысла: откуда мне знать, какой класс им нужен... Они сказали, что я-то им и нужен, отчего я похолодел и тихо, но внятно произнёс «Учитите, что я хорошо знаю Картона, он мой сосед».

Но оказалось, что всё, его имя уже больше не работает.

«Скажешь, что ждут внизу, но так, чтоб родители не слышали». – «Я не знаю, где она живёт». – «Зато мы знаем. Покажем. А ты нам её позовёшь. Ну всё, пошли».

«Заявишь в милицию – убьём», – эту банальность они мне сказали на прощание.

То есть вроде бы со мной лично ничего плохого не произошло... А с Верой, наверно, произошло то же самое, что происходило и раньше, и через некоторое время она снова сидела на задней парте, покусывая ногти или рассматривая отдельный волос – не выдирая его из головы, но отводя двумя пальцами в сторону...

Но мне казалось, что последние слова этих людей подтверждали, что что-то всё-таки произошло – иначе с чего бы это «заявишь в милицию...»? Я тогда не допускал, что это просто штампованная, обычная у них форма прощания...

Ну, может быть, кто-то из них был в розыске, портреты были расклеены на столбах, или показывали по телевизору, я лично не видел – но мой одноклассник, который знал, скажем, кто такой Картон, и видел, как они ко мне подошли после школы, как они меня куда-то ведут, как на расстрел...

На следующий день, когда увидел меня входящим в класс, вздохнул с облегчением.

«Я их знаю, – сказал он. – От этих так просто не отделаешься». С такой интонацией, что ясно было: это какая-то другая сила, с которой мы в повседневной жизни не сталкиваемся, это что-то, от чего нужно держаться как можно дальше.

И вот, это может показаться странным, но именно после этого я решил перейти в другую школу.

Я не могу объяснить, что уж такого ужасного со мной произошло... Просто несколько минут, которые я провёл в обществе этих людей – пока мы шли к подъезду Веры, – я был полностью в их власти. И вот это вот было впервые. Среди бела дня, на глазах у всех меня провели на цепи – невидимой только со стороны, но для меня очевидной... И заставили делать то, что я не хотел... Не то чтобы стать предателем... Но что, если бы Вера после этого вообще исчезла?

К тому же я знал, что я теперь впредь не защищён ничем: имя Картона вызывает лишь усмешку, на дворе, возможно, уже другая эпоха... Надо было перевернуть какую-то страницу жизни, и я её перевернул – плохо только, что меня подтолкнул страх, что это был не свободный выбор, не свободное решение...

Переменить место жительства я, конечно, не мог... Но я мог перейти в другую школу – что и сделал...

Что было отчасти смешно, конечно... Они же не учениками были, я мог столкнуться с ними где угодно... Но всё-таки вероятность встречи с ними таким образом уменьшалась – ну, или мне так казалось, ну и что с того, если страх можно было вот именно таким образом уменьшить, то почему бы и не попробовать...

К тому же я и раньше собирался перейти в физмат-школу: просто после восьмого класса и я, и родители думали, что время уже упущено, в старших классах переход считался нереальным, время – упущенным... Но ничего, «лучше поздно, чем никогда», – сказал я родителям...

То есть по сути я сбежал.

Ну – сбежал и сбежал... Вот только сбежал в самый что ни на есть уголовный угол нашего города... Или, если уж без алл-итераций описывать открывшуюся мне тогда впервые безальтернативность – серьёзная вещь ведь, судьбоносная... то надо сказать, что это был «район с самой большой преступностью».

Одним словом, это была Москалёвка.

А я же не знал, что это там за район ... И в первый же день нового учебного года, проехав на автобусе, а потом на трамвае, в общей сложности, включая то есть ходьбу, потратив на дорогу полтора часа... я был встречен на пороге новой школы теми же глазами из комочков свинчатки, от которых я туда бежал...

Только теперь они смотрели из другой – ещё более отвратительной – оболочки...

Но это были те же самые глаза – они теперь охотились за мной, перепрыгивая из одного тела в другое... Кажется, тогда я и заразился этой слобожанской разновидностью фатализма, мол, куда ни ткнишь, всюду Дикое Поле, и нам некуда больше бежать, и всё такое прочее – вплоть до травяного уже пофигизма...

То есть помимо математики нам там было преподана масса других уроков...

Дверь класса распахивалась, в неё заглядывала скалящаяся морда какого-нибудь Кабана, или Барана – водились в той округе и тот, и другой... И вот они входили посреди урока в класс и говорили: «Ну что, Гастролябыч, помнишь, как ты в меня угольником швырял?» После чего следовала мрачная сцена избиения учителя на глазах у его учеников...

Это я всё говорю к тому, что Картон был далеко не единственным уголовником, которого мой приятель Митя из новой школы увидел лицом к лицу. Мы с ним жи-

ли в соседних домах, но познакомились, только когда оказались в этой равноудалённой от нас школе, в одном классе (раньше он жил в другом городе – отец был военным)... Ну вот, и теперь мы часто бывали в гостях друг у друга, домашние задания вместе не делали, но что-то всегда обсуждали... Вот вспомнил: причиной столь частых наших походов в гости друг к другу были учебники – в физмат-школе, которую всё время пытались прикрыть – деятели из облоно, из обкома, – не хочу сейчас вдаваться в их причины, в общем, наши учебники были раритетными, переходили в наследство от старших поколений к младшим, и мне просто повезло: учебники мне достались от старшего брата какой-то родственницы. А Митя брал их у меня, брал, отдавал, снова брал... А я забывал вынимать из учебника, скажем, Виленкина, листки, вырванные из общей тетрадки, на которых я рисовал тётку.

Я делал это несознательно – в смысле забывал рисунки в учебнике, который давал Мите, и когда Митя в первый раз сказал мне об этом, я покраснел.

Но в следующий раз – не сразу, а через месяц или через два, – Митя снова, сделав над собой некоторое усилие, сказал, что из учебника выпало *нечто*. И даже спросил: я что, специально ему это подсовываю? Он сказал, что у него собрался уже целый ворох, он не знает, отдавать их мне, или что, или куда? У него мама врач, и он, слава богу, посмотрелся в медицинских энциклопедиях, так что вовсе не нуждается... в моём ликбезе.

Увидев мой ошеломлённый взгляд, он сказал: «Ну потому что... Есть же предел рассеянности. Так можно вообще...» – он не договорил, что можно вообще... А я не переспрашивал.

У меня, конечно же, такого и в мыслях не было – специально подсовывать Мите этих синюшных тёток без лиц...

Кстати, много лет спустя случайно забредя с одной знакомой в школу ваянья, я единственный раз в жизни попробовал порисовать обнажёнку, и все были удивлены, рассматривая мои первые (и последние – вплоть до сегодняшнего дня) опыты, – удивлены тому, что я умудрился достаточно подробно прорисовать черты лица тётки на каждом наброске...

Натурщица меняла позы часто: видимо, это входило в условия задачи, поставленной перед студентами в тот день, – буквально каждые две-три минуты, и в итоге я уходил оттуда с целым ворохом листов, на каждом из которых женщина была изображена с лицом, – за исключением, разве что, тех редких случаев, когда она его отворачивала...

Она была не совсем молодой, но очень ещё гибкой женщиной, а некоторые из её поз были, по сути, асанами – «полупоза царя рыб» и что-то в таком духе...

А на моих пубертатных рисунках всё было наоборот: все проекции тёток были без лиц, при том, что они не всегда были такими минималистскими, как, скажем, «Неприличные мысли» Трэйси Эмин, и рисовал я их ровно столько – по времени, сколько – через десять лет – живую натурщицу...

Просто все две минуты уходили на прорисовывание других частей тела...

А лицо вообще ведь частью тела не является, недаром никто, кроме меня, – из рисовавших натуру – лиц не рисовал, вот их рисунки и напомнили мне наброски, предательски выпадавшие когда-то из учебников, только формат у листов в художественном институте был, конечно, побольше...

Я не мог поверить Мите: мне казалось, что если даже я машинально нарисовал очередную тётку, – я мог думать в тот момент о доказательстве какой-то теоремы... Я всё равно – каждый раз уничтожал листок, это было просто поразительно – как они могли снова выплыть наружу, как будто они там саморазмножаются...

Когда Митя сказал мне об этом третий раз, я сердито ответил: «Ты врёшь! Этого не может быть», – он молча пожал плечами, а когда я дома открыл учебник

и осторожно, чтобы он совсем уже не распался, потряс над столом, из него выпал очередной, как говорят на других языках, «акт».

Но не думаю, что это как-то омрачило нашу дружбу: Митя очень хорошо рисовал ручкой комиксы, и я уверен, что, кроме того, он рисовал и не менее неприличные рисунки, чем я, – просто, не страдая преждевременным склерозом, не давал своим чертежам будущего гулять за пределами своей жилплощади...

Я вспомнил об этом, наверно, потому, что эксцесс, свидетелями которого мы с Митей стали в моём подъезде, был одновременно либидозным, как мои «акты», и гротескным, как Митины, нарисованные той же синей ампулкой, комиксы, – только тут вместо кадров были этажи, лифт не работал и мы шли пешком... Пока на одном не увидели странное существо... в котором даже я не сразу опознал Картонна.

То есть Митя его вообще не знал, он видел его в тот момент в первый и последний раз в своей жизни, но я тоже, признаюсь, сначала подумал, что это кто-то к нам залетел из Золотой Орды, или Соловей из экранизации сказки – рухнул с дуба... Но точно не помню, что я тогда успел подумать, – пока через секунду не понял, что это Картон.

Он рвался в квартиру девушек, которые жили на четвёртом этаже и, вроде бы, были кузинами, ци вроды?<sup>2</sup>... работали в универмаге, статные, крепкие, в высоких сапогах, с длинными волосами и ярко крашенными лицами... Они его не пускали, Картон ломал дверь, на груди и на животе у него были красные полосы, оставленные когтями оборонявшихся тигриц, – впрочем, может быть, в ход перед этим шли и столовые приборы, и кипящее масло – и кровь капала на пол, но Картон уже не обращал на это внимания... Он был голый наполовину – под распахнутым тулупчиком, а так в каких-то всё-таки штанишках... Огромные чёрные глаза его были совершенно безумны, а из горла доносился рёв... который я слышал лишь однажды – когда сумасшедшего по ошибке доставили не в пятнадцатую, а в четвёртую «неотложку», где я лежал в тот момент... И когда он вышел в коридор, вынудив откуда-то – спрятал под одежду, не проверили, ну, я не знаю, как он его пронёс, но это был самый что ни на есть – ТОПОР... в коридоре неотложки подул ураганный ветер, которым стало сдувать всех: ходячих, лежащих, пациентов, врачей, – как сейчас помню эту толпу, как будто вырывавшуюся изо рта двухметрового детины, пока не подросли санитары другой больницы.

Но хватит уже этой... топорной поножовщины, подножной литературщины... Я хотел только сказать, что вот так же примерно ревел Картон, только – вертикально, и Митю сдуло по лестнице – вниз...

Увидев нас, Картон было шатнулся, оскалившись, но в последний момент всё же узнал меня и махнул рукой, брызгая кровью: мол, проходите...

Не работал лифт, поэтому мы шли пешком и увидели на четвёртом этаже... как Картон собирался с новыми силами, чтобы проломить дверь, он пытался разогнаться – поэтому и появился справа от нас... Сёстры жили в двухкомнатной квартире, их дверь была сбоку, а не в торце, так что как следует разогнаться Картону было трудно...

Митя весь побелел, быстро сказал «я пошёл», но пошёл – это не то слово... Его сдуло, и больше в мой подъезд он не зашёл ни разу в жизни. То есть все два – или полтора года, сколько нам ещё предстояло проучиться в школе, я иногда звал Митю в гости, успевая забыть, с чем ассоциируется у него мой дом...

---

<sup>2</sup> Эти красавицы (укр.).



Он всегда отвечал «нет уж, лучше вы к нам»... Он не пришёл даже на мой день рождения.

При том, что Митя был мальчиком совсем не робкого десятка...

Чему свидетелем хотя бы то, что после окончания школы он поступил в военное училище, стал кадровым офицером... И потом, или точнее, раньше – была ещё сцена «из жизни Москалёвки», в которой Митя показал себя молодцом...

Но если всё-таки попытаться восстановить то мгновение на основании нескольких слов, которые Митя впоследствии проговорил, выглядело для него всё это примерно так...

Мите показалось, что рёв Картона вызвал лавину, и уже сыплется с крыши гудрон и чернозём, а из стен выпадают куски бетона (это не красные словца и не «названия картин»... стены подъезда на первом этаже были дырявыми, из них выпали целые фрагменты, сквозь провалы виднелись ржавые баки, в которые падал мусор, пролетая по трубе... Хотя вряд ли, я думаю, баки были видны в тот момент: было поздно, а света на первом почти никогда не было – он падал сверху, как и мусор, и долетал до дна совсем тусклый ... Провалы же в стенах на первом этаже образовались, конечно, не от рёва Картона – они появились раньше, но Мите могло показаться – что распадается вся железобетонная реальность, потому что он, хоть и бывал у меня в гостях, мог этого не замечать – повторяю, подъезд, по его словам, предстал перед ним в тот момент в другом свете... И эти стены бело-зелёные, которые мы вроде бы знали как облупленные... Краска с них давно уже большей частью посыпалась, но сквозных пробоин выше не было, как на первом, однако было ощущение, что *всё* сейчас посыплется), и завалит вход, и мы окажемся замурованными вместе с Картоном. Вот из такой перспективы Митя и поспешил выбежать наружу (и мы, и мы тоже сейчас же за ним последуем, читатель) и больше в мой подъезд не заходил никогда. Все мои уверения, что Картон мотает очередной срок в тысячах километров от нас, Митю не убеждали. Тут можно было бы напомнить читателю предыдущие геометрические измышления о скайлайне жилого массива, аппроксимирующую несуществующую окружность, о наложении внутренних многоугольников на... Да, может быть, всё это надо было бы немножко ещё уточнить на бумаге... Но вроде и так уже ясно. Скажу ещё только, что мне понять эту явную неадекватность – Митину – помогала моя собственная... Достаточно сказать, что я перевёлся в физмат-школу вовсе не из любви к математике – как я объяснил свой порыв родителям... Но я ведь и об этом уже, кажется, успел порассказать... Всё, тут на самом деле заканчивается затянувшаяся... ретро-ретроспектива... И, соответственно, несуществующая временная форма – прошлое в прошлом, вот именно так, без кавычек.

#### 4. Кодекс парашютиста

В квартиру-ловушку мы заглянули ещё только раз и никаких следов Картона, да и вообще людей, в ней не обнаружили. Игорь Антонович проверял какие-то ниточки, или даже волоски – и был разочарован.

Всё же он решил ещё проверить всё в комнатах, так сказать, на макроуровне, а я тем временем, как бы от нечего делать, созерцал балкон, который выглядел так, что на него вовсе не хотелось ступить ногой, а тем более двумя. И дело не в том, что он был грязный и заставленный табуретками разной величины, необструганными досками и лыжами, ёлочными крестами, шестернями и кастрюлями, полными помоев, – всё это были мелочи... По сравнению с тем, что балкон в любую секунду мог рухнуть.

Может быть, так казалось из-за стёкол, которые на него навесили, – то ли рамы так разошлись, то ли это был изначально неудачный проект, только теперь

эти ветряные стёкла висели за балконом, на некотором расстоянии, как бы в воздухе, и при этом они были сильно наклонены влево относительно вертикальной оси...

Все они были треснутыми, из некоторых уже выпали куски, так что вид был довольно-таки зловещий: по газонам не ходить, век свободы не видать, в трюмо тюрьмы – не смотреть, – бормотал я свой отворот...

Осторожно ступив всё же на балкон, я, то есть, подумал: какой знак я могу оставить Картону?

Там ещё стояли на табуретках трёхлитровые банки, сверху накрытые розовыми перчатками...

Разве что поставить одну табуретку на другую, – подумал я, – так, чтобы снизу видна была красная пятерня...

Можно было бы сделать, если бы все они не лопнули... Я снял одну перчатку с банки, с плохо осознаваемой целью – прилепить, что ли, к стеклу... Где-то в таких местах обязательно должен быть засохший тюбик с «моментом»... Хотя ветер сорвёт всё равно, вместе со стеклом, или следователь первый заметит... Да он уже заметил, что я снял перчатку, и нервно подошёл к балконной двери.

– Давайте попробуем наливочку, – сказал я.

Он покрутил пальцем у виска.

«Ладно, Картон – не Плейшнер, и всё равно не предупредён, – подумал я, – да и профессор не усмотрел, не заметил... Сбросить, что ли, цветок... Пока дворник уберёт... Да нет, кто знает, когда он появится, а горшок ещё прильёт когонибудь, с моим счастьем...»

– Шутка, – сказал я, – там всё уже давно испарилось.

И в самом деле, наливки успели превратиться даже не в уксус, а чёрт знает во что, грязноватый налёт на стекле, потому четыре пятерни, голосовавшие когда-то «за», безвольно опали, скомкались...

Больше Игорь Антонович не уделял балкону внимания; он не только на него не выходил, но вообще не смотрел в ту сторону, как будто и не было там за окном никакого балкона, а за ним – ещё одного, висящего в воздухе – окна...

Зато он и в этот раз отворачивал матрас, шарил в деревянных развалинах, которые язык не поворачивался назвать мебелью, – не забираясь, впрочем, в их глубины, нервно ходил на кухню, возвращался и молча разглядывал корешки книг в перекошенном шкафу.

Книг было довольно-таки много, в основном классика в серых, коричневых обложках... Но что шкаф был перекошенный, я теперь уже не уверен: может быть, просто книги там так стояли, наклонившись, а то, что я перед этим довольно долго созерцал висящие за балконом наклонные стёкла... создавало такой странный поворот мысли, которую и мыслью-то трудно было бы назвать... Скорее, объективно там что-то было... инфлексия такая... И оттого ощущение, что находишься... не в комнате кривых зеркал – как обычно... А внутри калейдоскопа, как бы это ни было пошло ... Причём тут я вспомнил и другую квартиру – похожую на эту степень трущобности... Она была не в панельном доме, но в каком-то смысле... и «панельном», там то есть можно было снять квартиру почасово... Но я снял на несколько дней – на сколько хватило неожиданной премии... «Меблированные комнаты» – так литературно это называлось в объявлении... Мелированные волосы, мебели... Мело, мело... Но всё это явно не из той повести, this is not a love song... Я только вспомнил – стоя совсем в другой квартире и глядя на похожую – если мне только память не изменяла, кровать... что тахта там распадалась каждый раз на части, и потом я их сколачивал заново, кулаком, непрочно... Я шарил там в поисках молотка, но не находил его нигде – там вообще ничего не было, никаких инструментов, посуды... но при этом в одной из тумбочек без лицевой крышки выдвижного ящич-

ка я нашёл оптический... Язык почему-то не поворачивается повторить это слово, слишком оно заезженное, да... Не манометр, нет, который можно положить на живот подруги, чтобы узнать... Но калейдоскоп... Который можно разве что засунуть в неё... Но мы не дошли до таких извращений – времени было мало, да и темно бы там было... для освещения витража – это же только кажется, что вульва, распалаясь, светится пурпурным светом...

И вот, стоя посреди хлама другой квартиры – где ждали Картона и где была странная инфлексия, – круговорот стекла в природе... сделался здесь отчего-то зримым... Почему я и подумал, что это логово находилось внутри... Нет, не влагалища, а вот именно – калейдоскопа, и поэтому так наклонены все стёкла... что они медленно вращаются – очень медленно, так что движение их для простых смертных незаметно...

Я закрыл глаза и вспомнил, как я лежал в той, другой квартире, в изнеможении, в абсолютном нигде, потому что даже номера той квартиры не было на табличке, висевшей над входом в подъезд...

А та, из-за которой я снял это нежильё, упорхнула на работу, и вот я лежу полчаса, битый час, поворачивая калейдоскоп, и вместе с его цветными поворачиваются битые стёкла, нависшие на балконе, и все эти банки, и склянки, и стёкла книжного шкафа, и кружочки пенсне... И вдруг я слышу звон разбитого стекла – это балконные стёкла совершают наконец свой оборот...

Может быть, я даже уснул на одно мгновенье, уже в машине...

«Пойдём», – сказал Игорь Антонович, и мы с ним спустились на лифте, в очередной раз сели в жигуль и медленно поехали по узким серым улицам, похожим на систему пересохших каналов.

Паузы были – мы что-то жевали.

Всухмятку, потому что Игорь Антонович на рабочем месте не мог пить пиво, которое лилось, продавалось то есть, на разлив в одной из щелей катакомбного «торгового центра», расположенного в сердцевине микрорайона, как будто это была его модель, несколько уменьшенная и уплотнённая: микро-микро-район...

О чём я думал все эти три часа, глядя на бетон, который был как-то удивительно сер, даже по сравнению с моим районом... я уже, конечно, не вспомню...

Но вполне вероятно, что я как раз и думал о том, почему мой район не такой серый, – не только благодаря деревьям...

Я мог, например, вспомнить, что мой дед десятилетиями писал письма во все инстанции, вплоть до ЦК КПСС.

Нет, он не просил покрасить наш микрорайон в более жизнерадостные тона, чтобы жить стало веселее... но так получилось.

Хотя дед писал конкретно о воде. Потому что, с одной стороны, к нам не поступала горячая вода – из-за того, что подавалась под слишком слабым напором, и на первых этажах поэтому была всегда (за исключением тех периодов, далеко не только летних, когда её выключали во всём Салтовском жилмассиве или даже в целом Харькове – чтобы уже никому не обидно), а к нам не поднималась почти никогда.

С другой стороны, в сезоны дождей нас не то чтобы *заливало*, как соседей с последнего этажа, которые жили над нами... К нам в квартиру вода просачивалась не сверху, а сквозь фасад здания, рисовала на стенах комнаты, в углах этикие тёмные акварели... Необходимо было «заделать стыки» – об этом дед мой и писал во все инстанции, пока лет через двадцать откуда-то не прислали машину, люльки, рабочих, и они покрасили стыки зелёной, как бы подчеркнув этим блочную конструкцию дома – он теперь стал «в клеточку», но, в общем, оставался тогда ещё таким же, как был, пасмурно-серым... Протекать дом от этой зелёной сетки (кажет-

ся, так ещё лечили тогда от простуд, или ещё от чего-то, был такой метод – только йодом, рисовали сетку на спине) стал немного меньше, вот только я не помню, застал ли эту радость мой дед, был ли он тогда ещё жив.

А потом наш дом покрасили зелёной краской уже весь... Кроме, разумеется, окон.

И вот эту монументальную живопись мой дед уже не увидел...

Какое-то время он был один такой, наш дом, а потом его примеру последовали некоторые другие... А если учесть, что там у нас – в микрорайоне – много было посажено живой зелени, в смысле флоры, изначально, можно согласиться, что, несмотря на общий план застройки, архитектуру – если это можно назвать архитектурой... микрорайон, по которому три дня подряд елозила машина Игоря Антоновича, и мой родной микрорайон – две совершенно разных конкретики... После чего уместно было бы мне вспомнить, что слово «бетон» по-английски – это «concrete», что я, кажется, и сделал, причём вслух, потому что Игорь Антонович спросил меня:

– Скажи... А как ты думаешь, нормальный человек может во взрослом возрасте выучить английский?

– Конечно, – сказал я, – например, N (и я назвал фамилию одного известного в городе общественного деятеля) выучил на курсах, говорит свободно, читает в оригинале.

– Нет, ну я же сказал: нормальный человек, – скривился Игорь Антонович, – ладно, это я так, абстрактно...

Через несколько дней я сидел в кафетерии общепита инженерно-экономического института со своим бывшим коллегой и рассказывал об отработке в милиции, которая, по моим словам, была похожа на чистое безумие... Я показывал рукой в воздухе круги, которые мы со следователем наматывали в вязкой необитаемой среде... Пока Аркадий сардонически не подытожил мой отчёт словами: «Что наша жизнь... как не бетономешалка».

Аркадий к тому моменту давно уже был корреспондентом местной газеты, точнее нескольких газет.

Он, по-моему, родился *литератором* и, работая в институте, писал романы, стихотворения в прозе и т. д. Что-то издавалось в гомеопатических дозах, в периодике...

Разговаривая с ним в кафетерии «Инжэка», я напомнил ему и такой эпизод: мы пошли с ним во время перерыва в необитаемый скверик на Клочковской...

Наверное это всё-таки было после работы, потому что Арканоид купил бутылку портвейна, ну да, и я ещё подумал: не собственное ли это его признание, что без поллитры...

Он на самом деле писал – по крайней мере, тогда – довольно «интенсивную», как теперь говорят, литру...

А пили мы без закуски, зато с культурной, значит, программой: Арканоид взял с собой рулон с распечаткой, с одной стороны которой был его код на коболе, а на другой – кусок его же нетленки... Потихоньку отмазывая сей свиток, он читал мне своё оповиданн<sup>3</sup> вслух...

Бутылка была уже пуста, когда из-под земли возник милиционер.

Маленький, тщедушный, с длинным нездоровым лицом, без фуражки... К тому же он казался сильно пьяным, хотя от него и не пахло... Он сел рядом с нами на

---

<sup>3</sup> Рассказ (укр.).

скамью, приподнял с земли пустую бутылку, предъявил её нам, поставил обратно и стал интенсивно шевелить двумя пальцами.

– В чём дело? – сказал Аркадий.

– Нехорошо, – сказал милиционер, – распиваете спиртное в общественном месте.

– Это не наша бутылка! – сказал Аркадий, – она стояла здесь, когда мы сели. А сели мы здесь, чтобы поработать. Вы что, не видите, что мы работаем? – и он показал милиционеру рулон, который успел свернуться таким образом, что там теперь действительно было видно только: «IDENTIFICATION DIVISION... DATA DIVISION... ADD A\_FIRST TO B\_LAST... MOVE TRAKT TO AT...»

– Я слышал, – сказал милиционер, – что вы не это читали. Это что, ребятки, и есть ваша работа?

– Да, это наша работа!

– А вы позволите? – сказал милиционер, протягивая руку к распечатке.

Я помню, что Аркадий, поколебавшись, дал ему рулон и с интересом стал следить, как милиционер читает, перематывая, его повесть...

«А вот тут у вас, ребята, порнография», – сказал милиционер, ткнув в распечатку пальцем... После чего вернул рулон Аркадию, стыдливо отвернулся и двумя пальцами – большим и указательным – стал повторять для особо тупых, или глухонемых: «гроши, гроши...».

Впрочем, не совсем бесшумно: слышался шорох от трения пальцев.

Но мы делали вид, что не слышим и вообще не понимаем, о чём речь...

И пошелестев так минуту-другую, милиционер сказал «ну что за люди», вздохнул обречённо, махнул рукой и... исчез, да-да – как бледно-голубой мотылёк, присевший на скамейку, растворился в весеннем воздухе...

Вот об этом эпизоде я теперь напомнил Аркадию, чтобы добавить:

– До вчерашнего дня это был единственный в моей жизни контакт с милицией.

– Ангел, – кивнул Аркадий и молча закурил папироску.

Перед этим я рассказал ему, на какой отработке побывал, и Аркадий не то чтобы возмутился... Но сильно, скажем так, стал недоумевать: как я мог?!

Сначала я подумал, что он шутит, но вскоре понял, что Дебаркадер, странным образом, серьёзен как никогда... А потом он стал нести какую-то полную пургу: я, мол, предпочёл честному, хоть и малоприятному, физическому труду взаимодействию с карательными органами...

В очень герметичном подвале общежития «Инжэка», где мы сидели в тот момент в маленьком кафетерии, повеяло вдруг ветром с *Архипелага*... Я не преувеличиваю, куда: Аркадий в какой-то момент стал буквально цитировать... Он напомнил мне, что в городе, где мы с ним проживаем, работал тот самый начальник местного ЧК, который спускал с живых людей кожу и ещё много чего вытворял...

– Какое отношение имеет Саенко – или там... К сегодняшней милиции? – сказал я.

– Прямое, – сказал Аркадий, – ты что, маленький мальчик? Ну скажи спасибо, что на себе не испытал, но ты же не мог не слышать, что представляет собой эта милиция... То же гестапо, в чистом виде.

– Погоди-погоди, только что это было ЧК?

– А какая разница? Что там перчатки, а там – абажуры?

– Нет-нет, ты погоди... Уж давай остановимся на чём-то одном. И тогда я тебе скажу... Что, во-первых, как нас в школе учили, белые были тоже звери, господа звёзды на груди вырезали, не забыл? И вообще, если так рассуждать, тогда все имеют к этому отношение без исключения, кто здесь продолжает после этого жить как ни в чём не бывало... А некоторые ещё и писать стихи.

- При чём тут Адорно...
- А при чём тут гестапо? Тебе не кажется, что это перебор? Не в том смысле, что что-то лучше, что-то хуже...
- Ты прав, наверно... Но если бы ты знал то, что я знаю... Я бы посмотрел на тебя тогда.

После этого я посмотрел на Аркадия, который знал то, что я не знаю... В бытность его в НИИ борода была короткой, но за время его свободного журнализма отросла так, что он едва не превратился в двойника человека, которого я встречаю в городе с раннего детства: очки с сильным увеличением, соответственно огромные глаза, жухлая львиная грива... Я называю его тайным архивариусом, хотя я понятия не имею, кто это такой...

И ещё два слова о его переходе... Аркадий вообще-то ушёл из института в никуда, в пропасть – не на радио и не в газету, а вот именно писать опус-магнум... Мы виделись с ним нечасто, он полгода жил уже на вольных хлебах, то есть буквально: стреляя при случае у знакомых 20 коп. на батон, а на дворе было что-то вроде перестройки, и вот я помню, что когда я заглянул к нему, он, покосившись, заметил, что в сумке у меня лежит свежая газета. Кажется, это были «Московские новости». Он спросил, поморщившись, как будто у меня там лежал кусок тухлой колбасы, – как можно читать газеты? Таким тоном, которым Сван говорил: «...я бы ещё понял, если бы там ежедневно публиковали мысли Паскаля...» – или Цветаева с её «...жеватели мастик, читатели газет...» – таким, то есть, примерно тоном... Я пожал плечами и сказал: можно, мне интересно. «Не понимаю», – сказал Аркадий, и... я чуть было не начал оправдываться.

А потом мы как-то шли с ним по городу и встретили на Сумской моего приятеля Кирилла, который уже к тому времени стал «очень важным человеком». Да нет, почему – без кавычек.

Он взял координаты Аркадия и устроил его на какой-то новый канал местного радио, чтобы старик не голодал по крайней мере.

Тогда они только начали появляться, лицензии, каналы, всё делалось с нуля, и Аркадия взяли этакой «радионяней» к новому дитяти, чтобы он сделал новостную программу.

Я посочувствовал, когда узнал об этом, подумав: какая всё-таки ирония: *aus-gerechnet*<sup>4</sup> Аркадий, который не может видеть газет...

Но когда я через месяц зашёл к нему в гости, Аркадий ни о чём, кроме новостей, просто не мог говорить. То есть все мои попытки «переключить канал» – я пытался завести разговор о его прозе, или о своей прозе – которую я ведь и начал писать с его лёгкой руки, вообще – о чём-то помимо текучки... Но безуспешно! Всё это вызывало у него только короткий смешок, он отмахивался и снова, как заведённый, начинал вещать о выборах, о заседании у губернатора, о новых законах кооперации и т. п.

И я, собственно, вовсе не затем это припомнил, чтобы подмигнуть читателю: мол, где наша мудрость, которую мы поменяли на знания, где наши знания, которые мы поменяли на информацию... Нет-нет, я всё это вспомнил только из-за того, что с Аркадием метаморфоза произошла как-то слишком уж быстро... Не по-человечески. Вот как тумблер щёлкнул – и передо мной предстал совершенно новый Аркадий, постиндустриальный, информационный, – какой угодно, но только не прежний Арканойд, который писал в тетрадопку в клеточку свои эпифании и от вида газеты морщился так, что она сразу же тоже начинала морщиться – газета-газета...

---

<sup>4</sup> Вот как раз, вот именно (нем).

Стало быть, борода у него была всегда табачного цвета, но почему-то сигарки без фильтра только теперь казались мне подожжёнными и выдернутыми клочьями всё той же бороды...

Точно так же, как и кофе «по-турецки», который бармен варил прямо за стойкой и который во рту производил впечатление густой песчаной взвеси... возможно, и был тем самым песком, в котором елозили железные турки – как напёрстки напёрсточника, при этом я ни разу не видел, как бармен насыпает в них кофе, – зато мне казалось, что я заметил, как он набирает в них песок, как совочком в песочнице, быстро так, раз-раз...

Впрочем, в подвальчике было темно, в этом было всё дело... Хотя никакой это был и не подвальчик, если уж вспоминать подробно, – кафе располагалось на первом этаже общежития, и я теперь уже не знаю, почему там было так темно: то ли окон вообще не было, то ли их чем-то наглухо заколотили для создания атмосферы, характерной для харьковских кофеен... Полумрак был такой же непреложной их составляющей, как кофе «по-турецки» и жареный арахис в лёгких пластмассовых вазочках, к концу беседы обычно полностью заполненных шелухой...

В одном подвале на Пушкинском въезде – там на самом деле был подвал-как-подвал, винтовая лесенка сразу вела резко вниз ... Так вот, мало того, что все гранёные стаканы там были выкрашены снизу синей краской, – так ещё и чайные ложечки были все продырявлены... Зачем? А чтоб не украли – вам же не нужна дырявая ложка... Причём это было не их ноу-хау, я не помню, у кого – у Довлатова? не помню точно, у кого – описаны такие же ложечки с дырочками и то, как иностранец, приехавший в Союз, ничему особо не удивлялся, пока не увидел эти ложечки... Вот они его просто-таки ввергли в ступор. После чего он быстро собрал чемодан и уехал, сказав напоследок что-то вроде того, что «в стране, где специально делают дырки в ложках, может произойти всё что угодно»...

– Ладно, я тебе объясню, в чём дело, – вздохнул Аркадий, – чтобы ты не думал, что я сумасшедший. Знаешь это новое словечко – демшиза?

– Нет, не знаю. Но ты можешь мне ничего не объяснять, – сказал я, подумав про себя, что «тайный архивариус» – которого я встречаю в городе с детства, в свою очередь похож на старика, изображённого на некоторых конвертах Jethro Tull... Хотя у того нет очков, но это неважно, образ тот же... Плюс стёкла с огромным плюсом, плюс как бы это сказать... глазное давление, но направленное вовне, – а это уже делает обоих, или сколько их там теперь, похожими на самого Яна Андерсона...

– Нет уж, послушай, – сказал Аркадий. – А то ты думаешь, что это у меня такой антименталитет, – как тебе, кстати, такой неологизм?

– Никак, – пожал я плечами, – не люблю сам корень.

– Ах, ты не любишь... А «мусор» для тебя лучше?

– Я не знаю, мне всё равно, по правде говоря.

– Да? Какие мы... Ну так вот: некоторое время назад я попытался провести журналистское расследование. В редакцию сообщили, что на мусорке – одной из самых больших в городе... на свалке то есть, найдены три трупа с целлофановыми кульками на головах.

– Какой-то ужас... И что, все с кульками?

– Да, представь себе.

– Что ж там за клей такой был у них...

– Клей? Люди видели, что их накануне забирали в милицию. А там, да будет тебе известно, широко практикуется в числе прочих и такой метод... допроса с пристрастием. То есть, может, и не специально – их убивали, может быть, просто сердце не выдержало.

- Сразу у троих? Нет, так не бывает. Разве что там был какой-то практикант...
- Не смешно.
- Ты уверен, что их задушили именно в милиции?
- Теперь да. Уверен. И я тебе скажу, почему. Как только я начал наводить справки, нам позвонили из управления МВД и сказали моему шефу, что у них есть достоверная информация. О том, что у нас кто-то – цитирую дословно: «чирикает». И этот кто-то, как ты понимаешь, – я. Шеф запретил мне заниматься этим «материалом». Всё, больше я не хочу сейчас ни слова говорить, я рассказал это тебе только для того, чтобы ты не думал, что я псих.
- А кто не псих... А кто были эти люди?
- Никто. Бомжи. Может, чего-то видели лишнего, или услышали случайно – я не знаю. Просто теперь ты понимаешь, почему меня так колотит... Скажем так: удивил меня твой юмористический рассказ об отработке, Витя.
- Да почему же юмористический...
- ...знаешь, я даже готов допустить – абстрактно, – что они нужны.
- Кто?
- Менты. Что кто-то, в принципе, ну, должен, ловить этих воришек, бытовых и бескорыстных убийц...
- А корыстных?
- Тех всё равно никто не ловит... Но просто всё это меркнет по сравнению с трупами ни в чём не повинных людей... С целлофановыми кулками... Времена не меняются – всё только на поверхности, понимаешь?
- Гулаг-архипелаг, яволь... Ну, не знаю. По крайней мере, кожу с людей не спускают. А наоборот, как видишь, надевают на них ещё одну, прозрачную... Отчего они, правда, задыхаются... Исход то есть один, но разница всё же есть, согласись. Таким образом, прогресс налицо... целлофан, полиэтилен, эпителии, этил...
- Остановись! И я тебе поведаю... ещё кое-что. Но сначала скажи: когда тебя туда посылали, ты пробовал найти отмазку? У тебя что, не было вот этих мыслей – что ты будешь пожимать руки и работать бок о бок с садистами и убийцами?
- Ты меня уже спрашивал. Если честно, то нет. Вот если бы всё это произошло в обратной последовательности: сначала разговор с тобой, а потом направление на отработку... Тогда наверняка. Так что можешь считать, что одному человеку ты... прожёл глаголом целлофан.
- Целку. В мозгу.
- Ну, это грубо, ты же у нас представитель изящной словесности... А что шеф запретил тебе писать об этом... Так я ему за это благодарен. Потому что иначе там мог бы появиться четвёртый труп, мне бы это было тяжело перенести...
- Они решили пойти другим путём... Я провёл сутки в камере... хранения, блядь, у меня даже очки забрали.
- Ты был в камере?!
- Да. Меня объявили подозреваемым в том самом преступлении, в котором я пытался обвинить их...
- Пытался обвинить, тоже мне дон... бросился не на мельницу, а на мясорубку... Но на каком основании они тебя...
- А вот именно изящной словесности... Которая, по правде говоря, была не такой уж изящной... Но и не такой, согласись, чтобы за неё сажать в камеру...
- Аркадий, раз уж начал – говори, к чему эти загадки...
- Да всё очень просто... У меня был когда-то такой этюд из цикла «Тайная жизнь клавиесина», опубликованного в альманахе «Пятихатки», там описывалось как бы бытовое убийство с помощью кулика... А в милиции нашёлся какой-то читающий чин, даже пишущий – стихи, публикует он их под псевдонимом... Который это вспомнил и попробовал пришить к делу, понимаешь?



– Против тебя возбуждено дело?

– Нет, потому что, отсидев в камере сутки и выслушав их – пусть и бредовое, но им-то можно бредить наяву, не правда ли... Выслушав их инверсию моего обвинения, я пообещал им впредь никогда больше не «чирикать» – после чего меня выпустили... Как щегла, блядь, весной, у меня жили в детстве щеглы, и весной я сам их из клетки выпускал...

– М-да. Нам не дано предугадать... Чем наше слово обернётся...

– Скажи ещё, что не воробей... А вообще – не надо больше банальностей. Хватит, наслушался... Чин, кстати, передал мне записку – через своего подчинённого. Где была цитата, выписанная им из Гёте: «У людей, которые не едят, есть одно преимущество: они себя не компрометируют». Каково?

– Ну что, вполне мексиканское чувство юмора... Надо его стихи почитать?

– Нет, не надо.

– Ясно. Осталось только ещё, чтобы это был тот же самый твой рассказ, который ты мне читал в скверике... Чтобы понять, что менты – это на самом деле такие фотороботы, точнее, роботы с фотоэлементами, раз увидел – и всё, фотографическая память...

– Да нет, генерал сам прочёл, сам вспомнил, говорю тебе: он поэт, так что интересуется не по роду деятельности... Нет, я помню, что тогда тебе не это читал, распечатав, но альманах я тебе дарил потом, подписывал, так что если покопаться в своих завалах, найдёшь<sup>5</sup>.

– Если меня снова отправят на эту отработку, – сказал я, – я расспрошу следователя поподробнее...

– О чём?! Спросишь его, не душит ли он людей, надев кулёк им на голову?

– Да нет, это тебя заботят кульки... Прости, но такое впечатление, что ты через них лучше чувствуешь эту реальность... Ну, как фетишисты сквозь латекс – чужое тело... То, что в милиции убивают, ты ведь и так знал, как все, я думаю, – но вот именно эти кульки почему-то...

– Ты не прав – просто это попало непосредственно ко мне, так получилось... Ну всё, хватит об этом, пойдём.

Мы расплатились за два «маленьких двойных» и за арахис, Аркадий подхватил свою журналистскую сумку-через-плечо, и мы прошли сквозь очень узкий кафельный коридор-предбанник, в конце которого попали под холодный душ. Аркадий открыл зонтик, пожал мне руку и пошёл в какую-то редакцию, а я в другую сторону мимо длинного дома – который, по словам того же Аркадия, накануне сгорел, – бормоча про себя: «...что я – не смерть и ноль в сравнении с ней... я б разузнал, чем держится без клея...тра-та-та повесть на обрывках дней...» – я то есть это бормотал на ходу, не дом...

Сгоревший дом был одним из длинных чёрных домов, что стоят недалеко от Госпрома, построенные, что ли, для персонала. Ну, не весь сгорел – изнутри, а фасад остался.

<sup>5</sup> Я и в самом деле впоследствии нашёл истрёпанный альманах, так что переносу сюда текст целиком: из цикла «Тайная жизнь клавишина», рассказ «Варя», автор Аркадий Карпенко.

«Где он грязный?» – громко сказала жена и выхватила у Большакова кулёк, – покажи мне, где он грязный?» Большаков промолчал. На кулке там и сям были чёрные точки – в нём раньше лежали овощи. Варя швырнула кулёк в Большакова через кухонный стол, но тот не долетел: прежде, чем упасть, повисел в воздухе медузой. При этом в нём мелькнул жёлтый отсвет, и Большаков вспомнил, как они познакомились: поздним осенним вечером в скверике возле Вечного огня. Варя боялась подходить близко к пламени, хотя она дрожала от холода.

Перед каждым подъездом стояло теперь нехитрое добро погорельцев: тюки, мешки, картины, ящики с книгами, этажерки...

Но мне вдруг показалось, что погорельцы сидят и за углом следующего дома, и дальше... что это вообще такие... статисты погорелого театра... времён апокалипсиса...

Видимо, они так естественно вписывались в контекст окружавшей меня действительности, что я почувствовал... что если сейчас не выпью, могу и не выйти... из окружения.

На меня вот ещё что произвело впечатление: я вспомнил, что в этом доме (ну да, я там бывал, не буду сейчас описывать, я отчасти это уже и сделал... и вообще я чувствую, что пора закругляться, да) есть – или, по крайней мере, были квартиры, которые нигде не значились.

И не одна, и не две – а целый этаж неучтённых квартир, по крайней мере, над входом в каждый подъезд висела табличка: номера квартир с такой-то по такую-то, но на самом деле их было чуть ли не в два раза больше.

Вот за счёт чего: там был деревянный чердак – гигантская коммуналка, где, правда, у всех были отдельные ванна и туалет, и на каждой двери висел свой номер... И почему тогда этих номеров не было над входом в подъезд? Я понятия не имею. Но только теперь мне казалось, что это жители того самого – неучтённого, последнего этажа, материализовавшиеся призраки, коллектив домовых, выкуренный из дома...

Одним словом, я понял, что выпить просто необходимо – хотя бы для того, чтобы окончательно не впасть в «товэтовство»... Потому что в обычном состоянии я-то ведь «этовтовец».

А теперь из меня – ну, или из моего альтер эго – могло получиться что-то уже даже не совсем кржижановское, ну, какой-нибудь этовтоатовтовец... Или товэтоа-этовтовец, но тут ведь уже было бы всё было равно, что справа налево, что слева направо...

То есть это был уже явный забормот, и чтобы не оказаться одновременно и в повести и вне повести – за гранью добра и зла, так сказать... я попробовал придумать какой-нибудь свой – если не термин, то хотя бы образ – для того, что мелькало в чердачной памяти...

Сомнамбулические погорельцы, медленно бродившие по тем же своим квадратным метрам туда и сюда, но только уже без всяких стен, как голуби, или куры по газонам... очевидно, напомнили мне о состояниях сознания, когда всё вокруг

---

Когда Большаков заговорил с ней, она схватила его за рукав и увела в сторону, а потом вниз, по Бурсацкому спуску, где на ступеньках, снизу перехватив его взгляд, сказала: «Страшно?» Большаков тогда её не понял, а теперь, когда снова увидел эту картину: удивительно чёрная и живущая собственной жизнью рука, мёртвой хваткой впившаяся в его светлую куртку... Он отчасти понял, что Варя тогда имела в виду... «Мне самой страшно», – призналась она, глядя на собственную руку в кожаной перчатке... Большаков всё это забыл, и только сейчас – когда оно снова встало перед глазами – вспомнил, подумав почему-то, что человеческие руки – странные существа с хоботами, которые во время тихого часа бегают, бодаясь, поверх одеяла, как того и требует воспитательница. «Чёрная рука», в пионерлагере, – ну да, конечно, точно...» Большаков поднял со стола грязный, с его точки зрения, целлофановый кулёк от завтрака, который Варя давеча собирала ему на работу, и быстро надел ей на голову.

Не требовалось ничего рыть, потому что, катаясь в лесопарке на лыжах, Большаков случайно въехал в неприметный пролесок, где было множество чёрных ямок. Он не сразу понял, что это не кротовьи норы, а разрытые могилы немецких солдат. Так что теперь рыть не надо было. Лунки были неглубокие, но ведь и кулёк с тем, что почти год выдавало себя за Варю, был маленьким и легко поместился в одной из них, а немного земли, вперемешку со снегом, Большаков нагрёб рукой.

предстаёт развёрткой мира, который перед этим сворачивался, иногда при этом можно успеть заметить, как он расправляется в одном – иногда в нескольких – местах...

Я никогда в жизни не обобщал этот опыт, и почему вдруг в этот раз я подумал, что жизнь, может быть, и есть не что иное, как... складывание парашюта?

Если неправильно сложить парашют, он не раскроется, и, соответственно, будет просто пшик... Поэтому и важна, наверно, каждая складка материи или сгиб души, вот что имел в виду Делёз... Хотя слова «парашют» я в его книге («Складка. Лейбниц и Барокко») не видел, что было даже странно... Я набирал слово в поисковике – находясь внутри текста книги (вот здесь [http://yanko.lib.ru/books/philosoph/deleuze=le\\_pli=leibniz\\_et\\_le\\_baroque=ann.htm](http://yanko.lib.ru/books/philosoph/deleuze=le_pli=leibniz_et_le_baroque=ann.htm)) – и нет, не нашёл...

При этом я вспомнил, что складывать парашют нужно на чистой поверхности, – я когда-то читал инструкцию, где было написано: достаточно, чтобы маленький кусок нитки, или какая-то крошка, случайно попали между складками – и всё, парашют не раскроется...

Вот так, короче, я брёл по мягким газонам осеннего парка, или сада – Шевченко, – в то же время блукал по «ничейной области между наукой и литературой»... Только что покончив с перестановками букв, со всей этой товзетовской абэвзгэдэйкой, я теперь вспоминал, как по каналу ARTE шёл цикл «Философия от "А" до "Я" с Жилем Делёзом». Но не «Я», а вот именно – "Z", я помню, что "Z" у Делёза было очень странным: своим видом буква напоминала ему росчерк молнии, предшествующей зарождению жизни – или даже возникновению мира, просто росчерк... И это было странно, потому что до этого шли буквы как буквы и люди как люди, хотя... я вспоминаю, что были и до этого странности, скажем, «K» у него неожиданно оказалось не как «Kant», а как «Kafka»... Ничейная область, одним словом, что ещё от неё ожидать: как всегда, когда я случайно забредаю в неё, я испытывал теперь всё большее желание выпиться... Может быть, потому ещё, что знал наверняка: за столом все эти мои метафизические потуги – в данном случае что у нас там было, стропы, тропы, и всё то, что за ними трепещется... Ах да, складки материи – сгибы души – склады памяти – закрома родины... и кто здесь мир, и кто парашут... Вот именно: всё это плавно перешло бы в какой-нибудь старый анекдот о главном...

Ну, скажем, о человеке, который на вопрос другого парашютиста, почему он без парашюта, – они сидят вместе в отсеке самолёта, ожидая прыжка, и один другого спрашивает, и другой отвечает: «А мне так больше нравится».

Но это не весь анекдот.

Вторая сцена – это комната с большим окном, в котором видно бескрайнее голое поле, идёт собрание колхозного актива, выступает председатель: «Опять у нас засуха, самый депрессивный регион, колорадский жук заел, народ спивается...». И вдруг он что-то видит в окне, от чего хватается за голову и стонет: «И ко всему ещё этот идиот каждый месяц на наше поле падает».

Первоначально я думал зайти в «Затышок», но вдруг вспомнил, что его уже нет, и, пройдя сад Шевченко перпендикулярно и выйдя на Сумскую, я зашёл в «рюмочную», что между «Сквозняком» (который ещё существовал на момент повествования, но был закрыт по случаю поздней осени) и «Пирожковой» – которая есть и сейчас, и успел опрокинуть два раза по сто коньяку... Прежде чем услышал одобрительное:

– Вот и всё. И всех делов!

За соседним столиком сидел старичок с этаким... разбойничьим огоньком в глазах, или это мне теперь так кажется, когда я уже знаю, что за старичок-боровичок то был ...

– Да было б, о чём говорить, – сказал я, махнув рукой на стакан: мол, для меня это капля в море, ерунда.

– Вот именно! – сказал старичок и оказался за моим столиком, – вы знаете, кем я был во время войны?

– Ворошиловским стрелком, – сказал я.

– Угадали!

– Ну вот...

Я хотел было встать и уйти, но старичок не отставал:

– Но кем я работал после войны, вы ни в жисть не угадаете.

– Вы уверены? А если с трёх раз?

– Да хоть с тридцати трёх.

– Ментом?

– Да нет, не пытайтесь. Рабочее место моё было в обкоме. Но моей должности нигде не значилось, она была тайной, и я даже в ведомости не расписывался.

– А жили вы не в том доме, что за Госпромом? Он как раз сгорел на днях, этаж, который не значился... Ну ладно, рассказывайте, что вы за боец невидимого фронта, я сейчас принесу коньяк.

Я сходил за коньяком к стойке, вернулся со стаканами за столик и выслушал его историю.

Понятия не имею, заливал старик, чтобы ему наливали, – или это была правда-матка... Слушая его простой рассказ – который шёл по кругу с многочисленными повторами, – я в какой-то момент вспомнил своё краткое посещение литинститута и Битова, курившего там на лестничной клетке в окружении студентов, приговаривая: «И Ленин во мне, и Сталин во мне...».

Всё это было почти так же давно, как исповедь секретного стрелка в рюмочной на Сумской: Битов, садящийся после семинара в машину... Перед этим один из его студентов уверял меня, что это настолько многослойный человек, что давать ему свои рукописи бессмысленно, «он окружён таким количеством слоёв...» – и вот он после семинара как бы воочию подтверждал, одевая поверх пиджака кожаную куртку так, что пиджак под ней полностью исчез, – он так тщательно подобрал фалды, застегнул молнию, а потом и куртка исчезла в девятом слое – в «девятке», которую, в свою очередь, поглотил десятый слой – московский смог-туман, и остались только эти слова в облачке: «И Ленин во мне, и Сталин во мне...», такое вот матрёшечно-рюмочное воспоминание, ну да... Так и слышу его неторопливый голос – старичка из рюмочной, – воркование, как будто бы тех самых голубей...

«...я сначала и сам не поверил, думал, шутят они так, или даже: не сон ли это? Ущипнул себя – вроде бы и не сон. ”В день должно быть не меньше одного трупа птицы, – говорил мне сотрудник, проводивший инструктаж, – хотя бы не меньше одного трупа в два дня, орнитологи посчитали, как долго на них действует устрашение. Ну что вы на меня так смотрите? Вы понимаете, что мы не можем поставить там чучело, как в поле? И что же нам делать прикажете? Чтобы они гадиле Ленину на голову? Вы представляете, как бы он выглядел через неделю. Вы этого хотите?..”

...и с тех пор я все годы смотрел на Ленина сквозь оптический прицел, ну прикинь... Ты мне, конечно, не веришь...», – после этих его слов, когда он начал меня убеждать, как когда-то его самого в обкоме, что это не шутка, я представил, что старик сейчас достанет из сумки и передаст мне... эстафетную снайперскую винтовку.

«...не веришь, да... Но ты подумай, почему Шевченко был весь заляпанный, а Ленин чистый, а? Никогда не задумывался? А ты подумай... Ты в Симферополе был, в скверике возле вокзала? Так вот, не Гоголь там, а именно что Ильич, но та-

кой заляпанный, засранный... Что многие, как и ты, думают, что это гоголь-моголь... Но там он стоит под деревьями, на которых птицы устраивают свои съезды, – я как-то спал там на скамейке, точнее, не мог уснуть – так они там галдят, именно что над Лениным... А здесь обком не мог себе такого позволить, чтобы прямо в центре города... И позвали меня на эту тайную должность, понял... А потом я шёл, это всё ночью, конечно, оптика прекрасная, глушок... Шёл и подбирал тушку, а как же, специальные у меня были даже кулёчки для этого, выдавались...»

– О нет, – сказал я, – только не это...

И я, к удивлению старика, быстро встал и вышел из рюмочной.